

и ценности моей жизни

Тринадцать лет назад **Владимира Александровича Гусева** выбрали тринадцатым директором Русского музея. Не уполномочили, не назначили, не спустили, не перебрали, а выбрали те, что вместе с ним служил. Выпускник Академии художеств, он начал работу в музее научным сотрудником, потом заведовал отделом, стал заместителем директора по научной работе... В общем — музейщиком. Как и многих в начале 90-х, Гусева увлекло перестроенное «брожение», и он оказался в первой революционной питерской команде Анатолия Собчака. Однако музейщик, как известно, порода особенная. Возможно, даже не призвание, а доля. Что еще нужно русскому интеллигенту, дали бы только нести свой крест и веровать. За время директорства Гусева Русский музей расцвел, из его недр не раздаются привычные стоны о гибели культуры и ее спасении. Здесь составляют обширные планы на десятилетия вперед. И это — проекты, а не прожекты. Многие из них уже осуществились на наших глазах.

- Какой опыт вы вынесли изхождения во власть?
- Каковы теперь ваши взаимоотношения с властями предержащими?
- Искусствовед по образованию, музейщик по натуре, как вы чувствуете себя в административной роли?

— Начну издалека. Во времена первого передела собственности решался вопрос, передавать ли Русскому музею Шереметевский дворец. В решающий день мы долго ждали одного партийного начальника, который должен был приехать из Смольного, посмотреть и сказать: да или нет. Дирекриса наша, в прошлом райкомовская дама, тщательно готовилась, построила коллектив по ранжиру. Я был в то время зам по науке, что означало — присутствовать и стоять на полшага сзади. Замерли в ожидании. Большой начальник опоздал, естественно, минут на 40. Наконец подъезжает кавалькада черных «Волг». Выходит сам. Посмотрел и произнес: «А, так это и есть Шереметевский? А я здесь бывал». Сел и уехал. Потому я очень рад, что у нас президент, который твердо знает: Эрмитаж — зеленый, Русский музей — желтый. Не путает их, не дальтоники.

А если без шуток, то я для власти не очень приспособлен. И власть для меня. У любой власти мощно сбавляет инстинкт самосохранения. Поэтому она безотщадно чувствует, кто ей нужен, а кто нет. Помню, как меня пытались заманить в инструкторы горкома партии. Я работал в Союзе художников ученым секретарем, и у меня было очень плохо с жильем. Говорили, сбей бороду, и будем обожать. А я бороду не сбрил. И не потому, что вот власть плохая, а я — хороший. Нет. Власть — это всегда политика, а политика — это не для меня. Особенно сейчас. Поэтому все эти слухи, разговоры о том, что меня куда-то пригласят, вручат новый портфель — полная чепуха. Никуда меня не пригласят. И слава Богу.

Дело в том, что я себя во власти не люблю. Даже та степень власти, которой я обладаю сейчас, меня уродует, утомляет. Характер, между прочим, портится. К иностранцам выходил — улыбаешься, на своих рычишь. Вообще все чаще рычать на людей начинаешь. Легкость исчезает, веселье, появлялся судорога ответственности. Начинаешь серьезно к себе относиться. Да, много всего. А самое плохое то, что люди от тебя зависят.

Я в армии служил три года в Москве, в районе Сокола, охранял военно-политическую Академию. Начальником строевой части был некий подполковник Ф. Проти-ивный, на носорога похож: маленькие мутные глаза, голова, вросшая в плечи. Солдаты его, мягко говоря, не любили. А ему было, мягко говоря, на это плевать. Была у него идиотская привычка: если завидит солдата — идущего, стоящего, лежащего, обязательно куда-нибудь пошлет... за зубной щеткой, в кабинет за мундштуком или еще куда-то. Солдат он, конечно, по фамилиям не знал. Говорил: эй, рядовой. А меня немножко знал, потому что я оформил Ленинскую комнату. Не самая большая творческая удача в жизни, однако десять суток отпуска. Ф. пришел, посмотрел и сказал фразу, которая

навсегда приговорила меня как художника: «Говно пчелы, говно мед». Так вот, после этого памятного худсоветов тороплюсь я куда-то по длинной центральной аллее, и вдруг он сзади выныривает и орет: «Рядовой Жуков». Я иду, не оглядываясь. Он орет, я иду. Расвирился он страшно, лопнул через кусты и вырост передо мной: мать, перемать... А я докладываю товарищу подполковнику, что я — рядовой Гусев, потому и не откликался. И вот, то ли его красота моей фамилии поразила, то ли то, что я вообще ему ответил, но он с тех пор начал меня уважать. Никуда не посылал. Ф. был рыбовод, и я рисовал ему цветные схемы, где лодка должна идти передом, где задом, где надо забрасывать удочку, где сдавать посуду.

В ЧЕТВЕРГ ПОУТРУ С ВЛАДИМИРОМ ГУСЕВЫМ

Воскресенье, 2001. 11-17.05. - 0.10

Илья Обломов на руковождающей работе

Так что если ты государственный служащий и с властью вынужден работать, то важно лишь прояснить две вещи. Необходимо, чтобы власть тебя хотя бы идентифицировала и узнавала в лицо. Вот как Ф. меня. И второе: установить для себя ту степень независимости или зависимости от власти, которая соответствует твоей натуре. Тогда всё и всегда будет естественно, будут нормальные мужские отношения, которые давно сложились у пивных ларьков: «Ты меня уважаешь? И я тебя уважаю».

- Как изменилось время тип музейщика?
- Что скрывается за стратегией расширения музея?
- Как существует государственное учреждение в системе рыночных отношений?
- Не пытаются ли Русский музей ангажировать «патриоты»?

— Конечно, мне как директору музея чрезвычайно повезло. С одной стороны, ситуация созрела изнутри, с другой — наступило время, которое позволило решать вопросы.

Русский музей — крупнейшее в мире собрание русского искусства. И сто лет он складывался в трех зданиях. Энергия, накопленная там, — и материальная, и духовная, — его просто распирала. Мы показывали меньше одного процента коллекции и сидели друг у друга на головах. Когда я работал в комитете по культуре, то видел, как «по-революционному» решаются многие вопросы: схватят Собчака где-нибудь в коридоре за рукав и требуют отписать какое-нибудь здание. Я же настоял, чтобы по Инженерному замку, по Мраморному двору провели конкурс. Среди претендентов на Мраморный были и Пушкинский дом, и Эрмитаж. Так как у нас уже был опыт «захвата» Шереметевского дворца, мы сделали мощную кон-

цепцию, обосновали свои претензии. Конкурсы эти были весьма несовершенны, но все-таки хотя бы были.

Сориентироваться, перестроиться мне, например, помогла стажировка в Америке, где я провёл два месяца в Метрополитене. Оказалось, мы вовсе не одиноки в своем печальном опыте. Несколько десятков лет назад американские и европейские музеи перенесли схожую ситуацию, когда государство очень резко сократило бюджетное финансирование в сфере культуры. Музеи обрели на вымирание. И они постепенно научились производить сувениры, создавать магазинную сеть, торговать по почте, создавать общество друзей музея. Метрополитену, при среднем взносе «друзей» 300 долларов, это дает в год 15 млн. Да, музей — это храм, в нем нельзя торговать. Но глупо, когда в музее нельзя даже купить паршивую открытку на память. Приходят люди и оставляют здесь какие-то деньги, приобретая, например, альбом — это и реклама, и продолжение музейных залов, но это и товар еще. А часть денег пойдет на развитие музея. Таких источников много. Выжили мы, скорее, в застойные времена, когда жили от полочки до полочки. А теперь живем, что, безусловно, в чем-то легче, а в чем-то тяжелее.

Устаешь от того, что от тебя очень многое зависит. Но то, что произошло за последние 15 лет, я считаю, дало очень много и выражается тремя «Д»: деидеологизация, демонаполитизация и децентрализация.

Раньше мы не могли сами в зарубежный музей письма написать. Все надо было решать либо в обкоме, либо в ЦК, либо в Москве. Помню один такой «исторический» случай с каталогом к выставке «Гравюра 18-го века». При чем каталог-то плохой был, а

И многое другое. Но атмосфера музея засасывает. Спрашивают, почему я никого не уволил? Да потому, что в музее мало случайных людей. Сюда приходят либо на полгода — и уходят. Либо на всю жизнь.

Музеи сформировались в основном в 19-м столетии, когда у общества, у цивилизации, как у человека в определенном возрасте, появилась потребность что-то вспомнить, оглянуться, оценить прошитое. Так что вопрос расширения Русского музея — это не только географическая экспансия, но и экспансия социальная, и возрождение полифункционального значения музея. Например, сейчас, думаем, надо создавать свою концертную дирекцию. Очень много народу приходит на наши музыкальные вечера. У нас появляется новый великолепный белый зал в Мраморном дворце. Так называемый зал для игры в мяч. Еще недавно там проходили партокосактивы, в пионеры принимали. Мраморный дворец хорошо сохранился отчасти потому, что был музеем Ленина, многое просто зашили фанерой, заколотили — зато сохранили.

Сейчас реконструируем Инженерный замок, осторожноенько начинаем вскрывать каналы. Будем мост трехарочный восстанавливать. Это очень увлекает и в то же время отвлекает от чисто музейной работы.

Поверьте — это не гигантомания, это необходимость. Сам замок ведь тоже интереснейший памятник искусства и архитектуры. Он всегда воспринимался как мрачная громада — памятник тирана, брошенный дворец. На самом деле он был очень веселый, очень красивый, оранжевый, белый гипс, белый мрамор, цветной камень, скульптура, масса украшений, флаги и он не был закрытым. Один из первых указов Пав-

не нравится тебе современное искусство — не ходи. Пойди посмотри выставки «Русский монастырь», «Образ Богоматери» или Айвазовского. Когда я стал директором, то получил первое ругательное письмо, в котором предлагалось мне оторвать руки, а с музея снять название «Русский». «Почему у вас художник еврейской национальности Левитан висит на видном месте? У нас что, мало хороших русских художников? Шишкин, Поленов». А вот недавно я получил такое же ругательное письмо, которое начиналось так же: «Что вы делаете с Русским музеем? Уберите название «Русский». Вот Левитан, «Озеро Русь». Ну, думаю, снова здорово. Ан, нет: «Почему он у вас на первом этаже? Почему он в таком маленьком зале? Это самое великое произведение русское. А вы почему-то показываете эту современную галость».

Нравы меняются, а агрессивность остается. И все время почему-то достается Левитану. Во все времена.

Сейчас много рассуждают о патриотизме. Профессиональный же патриотизм меня не только пугает, он мне отвратителен. Я предпочитаю говорить о добре и зле, о красоте, которая спасет мир. Но когда происходят такие страшные события, как в Америке, приходится вспомнить простую житейскую мудрость. Если не хочешь быть побитым, учись драться. Поэтому, к сожалению, наращивать мускулы необходимо, увя, так мир устроен. При этом надо помнить: страшен солдат оборванный, не накормленный, плохо вооруженный, но, наверное, еще страшнее — солдат, хорошо накормленный, хорошо одетый и обутий, которому забыли объяснить, что такое добро, красота, что такое ценность человеческой жизни. Поэтому если воспитывать

местечковых патриотов — мы круче всех, мы превыше всех, — то это приведет все к той же агрессии. А если воспитывать патриота жизни на земле, вообще человеческой жизни, объяснять, как мал земной шар, чтоб на нем еще локтями пихаться, — так я за такое воспитание патриотизма. Оборона — не только в железе, оборона — она еще и в культуре. Потому что если за броней танка сидит человек вот с такусеньким лбом, то неизвестно, куда он повернет дуло этого танка.

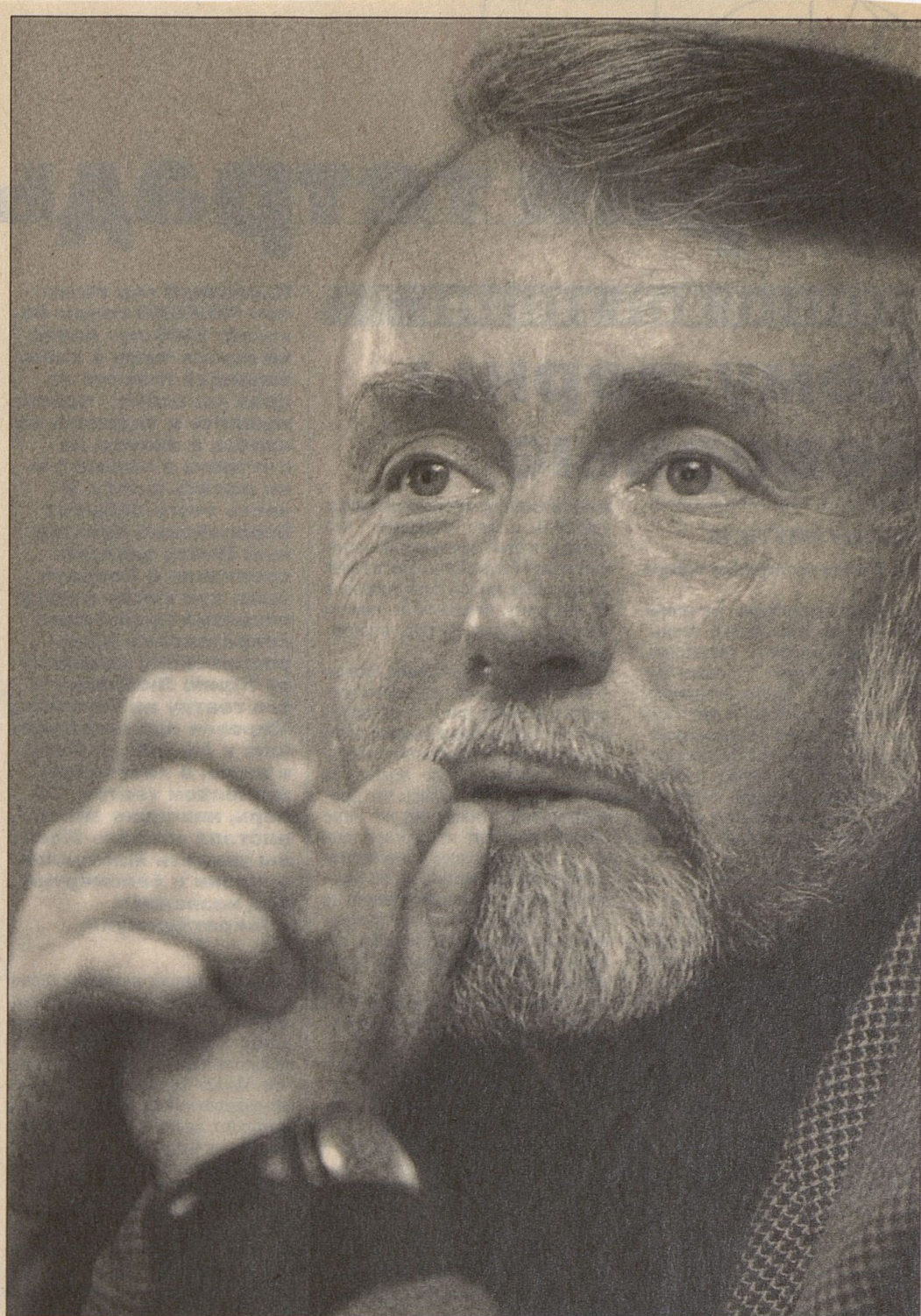
- Как вы оцениваете состояние современного искусства?
- Ваши художественные предпочтения.
- Как складывается день администратора в храме искусства?

— С тех пор как я стал директором, я стараюсь не оценивать художников. К тому же, к сожалению, как и у разведчика, глаз «замыливается».

Я люблю искусство рубежа XIX — XX веков, когда оно еще держалось на грани, когда форма стала уже почти самостоятельной, но все-таки она не стала самоцелью, не свалилась в «Черный квадрат» Малевича. Кстати, сейчас и об авангарде можно немножечко по-другому поговорить, чем тогда, когда он был гонимым.

А если честно, я дичаю. Слава Богу, меня хотя бы эти телевизионные передачи, что я веду по каналу «Культура», заставили вспомнить, что я чему-то учился. Я просто не могу, не успеваю следить за всем, что происходит в современном искусстве и искусствоведении.

Я бы не сказал, что мне не нравится современное искусство, но замечу, что мне многое в нем не нравится, раздражает. Вообще-то современникам очень редко нравилось современное искусство. Больше того, именно то, что не нравилось, очень часто оказыва-



лось шедеврами, а то, что нравилось, так и осталось лежать в записниках. Раздражают те болезни, которыми болеет общество. Искусство таково, каково общество. Да, мне хотелось бы, чтобы искусство меня радовало, утешало и навевало мне сон золотой. А оно наоборот: будоражит, эпатазирует. Накопилось слишком много агрессивности, злости и в каждом из нас, и в обществе, и в мире. Не прошли даром и ханжество, семьдесят лет двойной морали, двойных стандартов. Ну не хочет оно нас радовать. Изменится мир, изменится общество, может быть, когда-то искусство вернется к фигуративности, гармонии.

Российская черта быть на стороне гонимых. Когда авангард был запрещаемый, давимый, о нем нельзя было говорить объективно. А вот сегодня можно зауматься, так ли уж хороши революции в искусстве. Может быть, и в искусстве все-таки лучше эволюция. Без крови. Без жертв. Может быть, не надо с ружьем на Рафаэля, не надо никого сбрасывать с корабля современности. В Русском музее, кстати, самая лучшая в мире коллекция русского авангарда. Малевич попытался вырастить новый тип художника-ученого, у него была своя лаборатория в подвале Русского музея, был Институт художественной культуры. Он там работал в шапочке, в халате. Только в этом институте они все быстро переругались. И кто-то немедленно предложил пригласить коммуниста товарища Исаева, человека с опытом и связями, чтобы он навел порядок в нашем музее... Сам пригласили. Большевиком, агрессивности авангардистам тоже было не занимать.

Художественная среда постепенно возвращается к своему нормально-ненормальному состоянию. К тому, как это было на рубеже веков. Множество маленьких группировок, группировочек,

которые собираются, разъединяются. Не было ведь одного союза художников. А были галереи — маленькие, большие, разные.

Говорят, что прогресс — это всегда дробление. В обществе расцвет индивидуализм. Мы уже не знаем, кто у нас на лестничной площадке живет. Так же и художники не знают, кто рядом. Зато появляется постепенно тот класс или прослойка, которая имеет такую квартиру, в которой можно что-то повесить. Значит, можно сделать заказ художнику. Появляются семьи, в которых начинают думать так: вот папа сделал большое дело — давайте портрет папы повесим в гостиной. Петр I, начиная свои реформы, издал указ, гласивший, что каждый именитый гражданин обязан иметь в своей избе портрет императора и платить сторублику художнику за этот портрет. Вот вам и развитие портретного жанра. Появляются заказчики у художника, появляется рынок, который дает возможность художникам жить. Каков культурный уровень заказчиков — это уже вопрос к социологам. Музей должен связывать прошлое, настоящее и будущее. Сегодня мы собираем то, что потом даст представление о нашем времени. Мы покупаем очень много современных вещей. За 10 лет приобрели примерно 12 тысяч экспонатов, из них почти треть — это современное искусство.

Я по счету тринадцатый директор (или — пятнадцатый, в некоторые годы должность по-другому называлась). Однажды, готовя телевизионный фильм о Василии Алексеевиче Пушкинере, возглавлявшем Русский музей 26 лет — больше четверти срока всей работы музея, я взял в отделе кадров три личных директорских дела. У Нерадовского оно начинается на красивых гербовых бумагах. Потом появляются записи на жуткой папиросной бумаге с жуткими грамматическими ошибками: «Выдать товарищу Нерадовскому 20 пачек сигарет «Софо» для поездки в Нижегородскую область». Или: «Разрешить товарищу Нерадовскому рисовать в Псковской губернии (НКВД разрешает, чтобы его за шпиона не приняли)». У Пушкирева толстенный том — бюрократическая машина окрепла. Эдакий сброшурованный кирпич, и все это характеристики: на звание выдвигают — отклоняется; прибавка зарплаты — отклоняется; характеристики обкома, горкома, профкома для поездки за границу — разрешается — не разрешается.

А мое личное дело, слава Богу, уже несерьезного розового цвета и скреплено обыкновенным скоросшивателем. И у каждого из нас, как вы говорите, «администратора в храме искусства» рабочий день складывался по-разному. Пушкиреву многое удалось сохранить, он просто прятал вещи, хитрил, когда были поползновения в 30-е годы разделить фонды на А и Б — на неприкосновенный и вспомогательный, который можно было отдать в Дом культуры, где об авангардистов окурки гасили.

А про мой рабочий день легче сказать, из чего он не складывается — он не складывается из искусства.

Если помните, в легкой атлетике самое трудное — это средние дистанции. На короткой можно выложиться, за длинной приспособиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив средних размеров — это тоже самое сложное. Когда я начинал, музей был семей. Все друг друга знали, знали подноготную — кто, когда, что. Когда 10 тысяч человек работает, уже можно не беспокоиться, довести движение до автоматизма. А вот средние — самые выматывающие. Коллектив